Вестник ТвГУ. Серия «История». 2025. № 2 (74). С. 5–20

## ИСТОРИЯ РОССИИ

УДК 94(47)”1917”
DOI 10.26456/vthistory/2025.2.005–020

# Революция и Россия: «иное измерение» системного кризиса[1]

**В.П. Булдаков**

Институт российской истории РАН,
*г. Москва, Россия*

Автор показывает, что современные представления о российской революции выглядят бесперспективными. Многословие историографических «обобщений», многообразие «дискурсов» обнаруживается смысловую скудость сложившихся исследовательских практик. Особенно бесплодными выглядят попытки втиснуть картину революционного хаоса в рамки политической и экономической истории в её «прогрессистской» ипостаси. Отсюда результат – разгул конспирологических фантазий, с одной стороны, попытки навязать спонтанным процессам рациональную логику – с другой. В этих условиях для прояснения картины следует обратиться к «тонким материям» – прежде всего к эмоциональной составляющей человеческого бытия. Эту сторону предреволюционной действительности наиболее ярко отразили произведения виднейших российских писателей и поэтов.

***Ключевые слова:*** *Российская революция, системный кризис, предреволюционная культура, психология кризиса*

Подлинную природу революции распознать непросто – мешают неостывающие эмоции, которые, в свою очередь, активизируют взаимопротиворечивые доктрины. В свое время мною была предпринята попытка типологизации системных кризисов в России *(Булдаков В.П.* Quo vadis? Кризисы в России: Пути переосмысления. М., 2007. С. 75–105). Насколько удачной она оказалась судить сложно: откликов, за исключением дежурных упоминаний, не последовало. Однако, проблема остается и, кажется, ее осмысление становится всё более насущным.

Новейшие представления о российской революции – вновь называемой «Великой» – остаются бесперспективными. Многословие историографических «обобщений», многообразие «дискурсов» лишь обнаруживается смысловую скудость сложившихся исследовательских практик. Особенно бесплодными выглядят попытки втиснуть картину революционного хаоса в

[1] **Памяти С.С. Секиринского (1955–2012) посвящается.**

© Булдаков В.П., 2025

рамки политической и экономической истории в её «прогрессистской» ипостаси. Отсюда результат – разгул конспирологических фантазий, с одной стороны, попытки навязать спонтанным процессам рациональную логику – с другой.

В любом случае, из исследовательского поля вытесняется дух времени: «самая таинственная, самая неуловимая и все же реальная сила истории»[2]. Между тем, к нему постоянно обращались писатели, поэты и философы. А. Пушкин даже считал, что история народа принадлежит поэту. Со своей стороны, неомарксист Э. Хобсбаум как-то задался вопросом: «Почему талантливые дизайнеры, явно не отличающиеся склонностью к анализу, иногда могут предугадать форму вещей завтрашнего дня лучше, чем профессиональные аналитики?»[3] Историки подобных упреков не замечают – сказывается традиция позитивизма *позапрошлого* века. Между тем, можно *a priori* предположить, что дух истории складывается из агрегированных устремлений «маленьких» людей, что лучше всего улавливается людьми творчества.

Очевидно, настало время для кардинального изменения угла зрения на предмет исследования. Опыт такого рода есть. В свое время на Западе была сделана попытка взглянуть на ход Французской революции с позиций «новой культурной истории». Был сделан упор на изучение деструктивных и самоорганизационных процессов, при этом было признано, что «революция подобна обряду посвящения, конечный смысл которого неизвестен»[4]. Это прозвучало как призыв к возвращению к реалиям «недопонятого» – и потому исковерканного наивным телеологизмом – прошлого. Была показана также плодотворность расширения исследовательского горизонта: изучение хаотичных инициатив снизу, взаимодействия привычных ритуалов и новой символики[5]. В общем, был намечен путь понимания турбулентного прошлого сквозь призму его культурно-антропологического содержания, оставляя в стороне его политические симулякры. Понятно, что двигаться в этом направлении дано не всем – профессия историка не только консервативна, но и сервильна по отношению к идеологии настоящего.

В данном случае автор делает акцент на «неформальные связи» в российских элитах, учитывая, что между ее представителями существовали плотные и сложные контакты – в общем, копирующие патерналистские взаимоотношения в обществе в целом. С другой стороны, творческие элиты имели «выход» как на российские верхи и низы, не говоря уже о всемирном культурном пространстве. Показать, во что это иной раз выливалось – задача данного очерка.

* * *

[2] *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. М., 2023. С. 107.

[3] *Хобсбаум Э.* Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914 –1991). М., 2004. С. 195.

[4] *Hunt L.* Politics, Culture, and Class in the French Revolution. Berkeley, 1984. P. 180.

[5] См.: The New Cultural History / Ed. by L. Hunt. Berkeley and Los Angeles, 1989.

И вновь приходится возвращаться к предпосылкам революции – на сей раз к наименее уловимым – духовным. А для этого потребуется переоценка источниковой базы. Так, документы личного происхождения, почитаемые «необъективными», способны *in corpore* представить более глубокое представление о смыслах происходящего, нежели бюрократическая статистика. Пора вспомнить, что революция – это история *людей* и *идей*.

Очевидно, что всякой революции предшествуют «невидимые» психоментальные сдвиги. Так, со временем было замечено, что Французскую революцию «накликали» либертены, а Российскую – футуристы. Между тем, в некоторых местностях Франции собственно революции предшествовал Великий страх – следствие тотальной депрограммированности социумов. (Сходное напоминание можно найти у М. Волошина[6], хотя, надо заметить, оно было сделано в связи с 1905 г.). Нельзя также не упомянуть А. Блока (его впечатляющие «пророчества» прозвучали под впечатлением тех же событий). Примечательна и фигура А. Белого. «Если центральным смыслом всякой революции является взрыв всех тех смыслов, которыми жила предшествовавшая ей эпоха, то Белого, жившего постоянными взрывами своих только что провозглашенных убеждений, нельзя не признать типичным духовным революционером»[7], – считал выдающийся философ Ф. Степун. А композитор Л. Сабанеев уверял: в предреволюционные годы он все «время чувствовал, что как будто подслушивал какую-то страшную мировую тайну – очевидным становилось движение безжалостного механизма исторического Фатума»[8]. Так ли было на самом деле?

В любом случае революциям предшествовало нечто, вроде бы не имеющее к ним непосредственного отношения. Так, в условиях XX в. между войной и революцией возникла некая экзистенциональная связь: обе опирались на силу, обе обещали счастливую будущую жизнь[9]. То тотальное обновление, которое они сулили, не могло не оставить следов в душах людей. В любом случае после мировых потрясений национальные культурные потоки должны были поменять свое привычное течение. Но насколько основательно и почему?

Нельзя игнорировать старую, как мир, гипотезу: всякая революция в силу своего «человеческого наполнения» неизбежно пройдет похожие формы самовыражения, обусловленные сходством массовых реакций на текущие угрозы *(Булдаков В.П.* Европейская культура, мировая война, русская революция. Перспективы переосмысления // Российская история. 2024. № 4. С. 103–123).

---

[6] *Волошин М.А.* Пророки и мыслители. Предвестники Великой революции // Максимилиан Волошин. Лики творчества. Л., 1988. С. 188–208.

[7] *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. М., 2023. С. 251.

[8] *Сабанеев Л.Л.* Воспоминания о России. М., 2004. С. 17.

[9] История России. Том. 11. Империя, война, революция. 1914–1917. Кн. 1. От войны к краху империи / отв. ред. В.П. Булдаков. М., 2024. С. 7–11.

Такой взгляд преобладал (скорее неосознанно) в сознании российских – не только *анти*большевистских, но и *про*большевистских деятелей культуры[10]. Затем спектр поисков причин «смуты» сузился: историки стали оперировать более примитивными, зато более понятными большевистско-марксистскими представлениями о «закономерном» перевороте.

Принято считать, что революция (как и война) по своему духу противоположна культуре, несмотря на то, что последняя вдохновляется её героическими и трагическими образами. Попытки связать культуру, войну и ее революционное порождение преемственной зависимостью способны вызвать нравственное неприятие. Между тем *война* и *революция* – это взаимостимулирующее *явление культуры*, культуры в ее широком, креативно-историческом смысле. Вместе с тем, Первая мировая война явилась пиком и олицетворением *кризиса* культуры Просвещения. Очевидно, что Россия, как часть европейского целого, должна была по-своему реагировать на это.

Всякая культура – явление социально-историческое, безотносительное к его конъюнктурным (идеологическим или политическим) оценкам. П. Флоренский, выдающийся мыслитель начала XX в., определял её как *совокупность энергий*, то есть видел в ней эманацию творческого начала в человеке[11]. Возможно, здесь отразились натурфилософские представления В. Оствальда, который, как позитивист, понимал под культурой всё то, «что служит социальному прогрессу человека»[12]. В связи с этим прогрессистский пафос неслучайно взвинтил ранее сервильные умы. Люди, вроде бы далекие от революции, стали доказывать, что «в каждом великороссе накопились огромные залежи энергии, разрушительной или творческой, смотря по обстоятельствам ее проявления…»[13].

Между тем, подобные мнения стоит сопоставить с ранним (1898 г.) суждением В.О. Ключевского: «Целые века греческие, а за ними и русские пастыри и книги приучали нас веровать..,, – писал выдающийся историк (выходец из священнической семьи). – При этом нам запрещали размышлять... Нам указывали на соблазны мысли прежде, чем она стала соблазнять нас… Нам твердили: веруй, но не умствуй. Мы стали бояться мысли, как греха… Потому, когда мы встретились с чужой мыслью, мы ее принимали на веру. Вышло, что научные истины мы превращали в догматы, научные авторитеты становились для нас фетишами... Под византийским влиянием мы были холопы чужой веры, под западно-европейским стали холопами чужой мысли»[14]. Позднее Ключевский охарактеризовал предреволюционную духовную ситуацию зло и бескомпромиссно: «Русское духовенство всегда

[10] История России. Том. 11. Империя, война, революция. 1914–1917. Кн. 2. От развала империи к Гражданской войне / отв. ред. В.П. Булдаков. М., 2024. С. 12–13, 15–16.

[11] *Флоренский П.* У водоразделов мысли. М., 2013. Т. 2. С. 68.

[12] *Оствальд В., проф.* Натур-философия. СПб., 1910. С. 87.

[13] *Полетаев Е., Пунин Н.* Против цивилизации. С предисловием А.В. Луначарского. Пб., 1918. С. 135.

[14] *Ключевский В.О.* Верование и мышление // *Ключевский В.О.* Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 308.

учило паству свою не познавать и любить Бога, а только бояться чертей, которых оно же и расплодило...»[15].

Рано или поздно природное естество человека начинает бунтовать против диктатуры имперской необходимости. В недавнем прошлом философ С.А. Королев показал, что перед российскими правителями, в сущности, всегда существовала одна задача: выработать из географических территорий и совокупности «людских душ» единое и максимально однородное *пространство власти*[16]. Это было чревато застоем, мертвящим *всё* культурное пространство. Отсюда неизбежность ответной реакции.

* * *

В.О. Ключевский разглядел опасность внутримперского «столкновения культур», но мало кто из тогдашних интеллектуалов соглашался в это поверить. Между прочим, в европейской мысли второй половины XIX вв. шла полемика: настолько оптимистичен материальный прогресс, чем обернутся его достижения – революцией или бунтом? При этом от призрака бунта открещивались буквально все: существовала традиция идеализации «мягкой» революции, осуществленной большинством народа. Так Ч. Ломброзо даже утверждал, что «в истории революция есть синоним эволюции»; революция – результат «медленного и постепенного развития», которое служит залогом их быстрого и безболезненного успеха. При этом революции обусловлены «благородными и возвышенными» страстями, а бунты, – «низкими и жестокими». Напротив, Г. Лебон предупреждал: «Ложные верования и всяческие иллюзии служат главными факторами цивилизации... Не в погоне за истиной, а в погоне за иллюзиями человек устремлялся всего более». Впрочем и Лебон прибегал к самоутешению: «… Никогда не достигая химер, к которым стремился», человек всё же «содействовал прогрессу» – пусть не тому, о котором помышлял[17].

В любом случае в начале XX в склонность к иллюзиям относительно «чуда революции» сохранилась. «Революция мыслит себя как дитя утопии, причем дитя кроткое: переход от вымысла к реальности… совершается мирно, без разрушительных бунтов и возмущений; стоит старому порядку исчезнуть, как новое устройство мира обретает плоть и ясные очертания», – так было во Франции. – Революция не подозревала о дремавшей в ней способности направлять ход событий таким образом, что последствия их становятся абсолютно иррациональными»[18]. Напротив, современные авторы вновь поддаются соблазну исторического телеологизма, якобы задаваемому революцией. Их можно понять.

---

[15] *Ключевский В.О.* Письма, дневники, афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 287.

[16] См.: *Королев С.А.* Бесконечное пространство. Гео– и социографические образы власти в России. М., 1997.

[17] Цит. по: *Ломброзо [Ч.] и Ляски [Р.]*. Политическая преступность и революция по отношению к праву, уголовной антропологии и государственной науке. СПб., 1903. С. 79.

[18] *Озуф М.* Революционный праздник, 1789–1799. М., 2003. С. 20.

Согласиться, что великая эпоха Просвещения могла приблизиться к самоистощению, всё ещё мешает инерция нравственно-эстетических представлений. Между тем, духовные скрепы Европы неуклонно подтачивались и разрывались её собственными мыслителями. Естественно, это вызывало яростную, но безрезультатную критику. «Дарвин доказал, что человек произошёл от обезьяны. Конт доказал, что нет ничего сверхъестественного. Спенсер, а раньше Спиноза, доказали, что у человека нет свободной воли. Ренан доказал, что И. Христос был обыкновенный человек, хотя и идеальный. Маркс доказал, что жизнь движется только экономическими интересами людей и народов. Ницше доказал, что жизнь людей есть борьба, в которой одолевают сильнейшие, и потому жалость и сострадание к слабым есть безумие, распространённое христианством...»[19], – так описывал ситуацию, разлагающую европейский этос, архиепископ Антоний (Храповицкий), человек крайне правых взглядов. Разумеется, он утрировал: стоило ли обвинять дюжину разнородных мыслителей в грехе растления многовековой цивилизации? Тому были более прозаические причины. Так, в связи с ростом материального достатка европейское культурное наследие опошлялось духом потребительского гедонизма и сопутствующими страхами потери достигнутого. Возник феномен рессентимента (Фридрих Ницше, Макс Шелер) – неотреагированной агрессивности внутри самых различных социумов[20].

Под обывательской поверхностью российской жизни бродило своё «темное вино». «В русской политической жизни, в русской государственности скрыто темное иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории политического рационализма», – считал Н.А. Бердяев, в прошлом марксист. Происхождение этой «варварской тьмы» он связал с географическим фактором – чувством неспособности россиянина самостоятельно – без государства – организовать громадные пространства[21].

Традиционное большинство россиян (общинное крестьянство) не было отформатировано для демократии (к которой торопливо устремлялись беспечные элиты)[22]. Российская история не знала дисциплинирующего насилия в лице Инквизиции. Отсутствие в её средневековой культуре университетов с их непременной латынью препятствовало формированию сферы *логического*, трансформирующего эмоциональные выплески в собственно политику. «Обделена» была Россия и рафинирующей мозги школой схоластики – отсюда запоздалое – вполне в соответствии с Ключевским – следование «непререкаемым» принципам и авторитетам.

В этих условиях российским элитам приходилось выбирать между привычкой к старому и жаждой новизны. Это был непростой выбор. В феврале 1915 г. в публичной лекции историк Р.Ю. Виппер напоминал, что «в свое время Э. Ренан предсказывал падение изящной и тонкой культуры, которое

[19] *Антоний, архиеп.* О книге Ренана с новой точки зрения. Харьков, 1917. С. 2.

[20] История России. Том. 11. Империя, война, революция. 1914 – 1917. Кн. 1. С. 59–60.

[21] *Бердяев Н.* Судьба России. М., 1990. С. 54.

[22] История России. Том. 11. Империя, война, революция. 1914 – 1917. Кн. 1. С. 90, 340, 481, 871–872.

должно получиться от неимоверной скачки за материальными благами…»[23]. Трудно было рассчитывать на понимание этого со стороны людей, опасавшихся потери этих благ. Впрочем, сам Ренан оставался скептиком и потому не вполне верил в силу любых, в том числе и своих пророчеств.

По-своему реагировал на возможные напасти А. Блок. За завесой слов предреволюционного времени он словно улавливал неотвратимую поступь большого исторического времени и зыбкость нынешней культурной жизни: «Лучшие идеи от недостатка связи последовательности, как бесплодные призраки, цепенеют в нашем мозгу. Человек теряется, не находя средств… связаться с тем, что ему предшествует и что последует; он лишается всякой уверенности, всякой твёрдости; им не руководствует чувство непрерывного существования, и он заблуждается в мире»[24]. Вряд ли это было обычной данью тогдашним алармистским настроениям. Н. Берберова утверждала, что Блок слышал «музыку крушения старого мира». Более того, «внезапно все почувствовали себя на краю бездны, стремительно поглощавшей все прекрасное, великое, дорогое, незаменимое… Зрелище это вызывало священный трепет, было исполнено щемящей тоски и зловещего смысла»[25]. Конечно, последнюю фразу легко отнести к числу «запоздалых прозрений». Но не стоит пренебрегать любыми эмоциональными реакциями на происходящее, несмотря на их сумбурность. Былая культурная целостность (что всегда относительно) стремительно распадалась.

Всякая культура авторитарна и иерархична. Теперь её структура стала распадаться под воздействие неведомых (при этом весьма разнородных) факторов: индустриальный рост, информационная революция – с одной стороны, демографический бум – с другой. Как писал позднее Х. Ортега-и-Гассет, люди оказались внутри эпохи, которая чувствует себя «способной достичь чего угодно, но не знает, чего именно», она – «заблудилась в собственном изобилии»[26]. Т. Манн по-своему отразил эту ситуацию в «Волшебной горе»: в предвоенные годы обитатели туберкулезного санатория («пограничная ситуация» в замкнутом пространстве) бесплодно растрачивали время в поиске духовных «бомб» европейской истории.

5 апреля 1912 г. А. Блок оставил в дневнике «непонятную» фразу: «Гибель Titanic’a, вчера обрадовала меня несказанно (есть ещё океан)». Как видно, под «океаном» он понимал силы природы, способные антигуманной демонстрацией возвестить людям о куда большей опасности, исходящей от их технологических самообольщений. Вероятно, от сознания неспособности современников оценить символику этого «урока» Блоку сделалось «бесконечно пусто и тяжело»[27].

[23] *Виппер Р.Ю.* Гибель европейской культуры. М., 1918. С. 46.
[24] *Блок А.* Записная книжка. М., 2018. С. 53.
[25] *Берберова Н.* Блок и его время. М., 2012. С. 251.
[26] *Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс. М., 1997. С. 64.
[27] *Блок А.* Записная книжка. С. 106.

Люди, воспитанные на одномерном представлении о «прогрессе», не могли (или не успели) понять, что в начале XX в. изменились социо-демографические параметры европейской среды. Материальный прогресс обернулся своей оборотной стороной: человек, цепляясь за достигнутое, вместе с тем, готов был безоглядно рвануться в будущее, кажущееся улучшенным вариантом настоящего. «Дух масс» – агрегированное состояние сознания целой эпохи – стал авантюристичным[28]. Это тревожило: появилась масса «прорицателей».

В те годы многие говорили, что «мир сошел с ума». Не только европейские элиты, но и городские средние слои накликали мировую войну своим эмоциональным «патриотизмом». Оказалось, что достижения цивилизации консервируют психоэмоциональную архаику. Между тем, Г. Лебон в 1918 г. отмечал, что «знание логики развития аффективных, мистических и коллективных сил… даёт нам ключ к постижению исторических явлений, которые нельзя объяснить рационально»[29].

В этих условиях следовало бы вглядеться в «крестьянскую революцию», начавшуюся бунтами 1902 г., достигшую апогея в 1905 г., а затем «загнанную внутрь» П.А. Столыпиным. Чисто теоретически его крестьянская реформа могли «спасти» Россию от революции. Но на деле она усилила внутриобщинное напряжение: у общинника наряду с помещиком появился новый враг – хуторянин.

Российскую империю «расшатывали» давно – неважно кто: народники или марксисты. Даже консерваторы своим поведением внесли свою лепту в этой процесс. Александр III его лишь «подморозил». Это усилило рессентиментные настроения в элитах, что не могло не обернуться последующим «разгулом страстей». Тем не менее, российскую революцию предпочитали и предпочитают изучать по идейно-политическим параметрам. Между тем, как писал известный историк Французской революции Франсуа Фюре, «… следует не столько разбирать свалку мёртвых идей, сколько обратиться к тем страстям, которые придавали им силу»[30]. В известные времена важна не доктрина сама по себе, а то, какую она даёт надежду. Современные российские историки обычно этого не понимают: сказывается известное «историко-партийное» наследие. Отсюда и известного рода конспирология.

Некогда М. Мамардашвили, ссылаясь на М. Волошина, отметил, что существует «дух истории», перед которым программа и партийность ровно ничего не значат. Именно этот дух следует «выявить и осмыслить»[31]. Между тем трудно поверить, что на протяжении десятилетий этот естественный дух изгонялся их прошлого – якобы во имя непредвзятого знания. Историку следовало бы попытаться «переписать» прошлое под углом зрения страстей –

[28] История России. Том. 11. Империя, война, революция. 1914 – 1917. Кн. 1. С. 41–44, 57–76.

[29] *Лебон Г.* Вчера и завтра: Сжатые мысли. М., 2016. С. 19.

[30] *Фюре Ф.* Прошлое одной иллюзии. М., 1998. С. 21.

[31] *Мамардашвили М.* Возможный человек. М., 2019. С. 33.

как «сверху», так «снизу». Стоит, к примеру, вглядеться в фигуру эмоционально бесцветного Николая II. Словно по иронии судьбы В.О. Ключевский обучал его рано умершего брата Георгия. А будущий император так и остался «недоучившимся». Будучи суеверным, Николай II упорно не хотел видеть «знаков судьбы» (Ходынка, удар японского полицейского, больной наследник и т. д.). Некоторые считают, что он во взаимоотношениях с элитами допускал те же ошибки, что и Людовик VI[32].

Между тем Россия «готовилась к революции». После декабрьских событий 1905 г. в Москве студенты говорили: «к мятежу готовились 50 лет и дело “сорвалось” – теперь опять предстоит 50 лет к нему готовиться»…»[33]. «Неизбежный» переворот идеализировали.

* * *

Строго говоря, идейному возмужанию российских элит «мешали» европейские ценности; их политическая культура оставалась подражательной. В известных обстоятельствах это могло обернуться духовным вакуумом. Многие западные авторы – от Ф. Ницше до М. Хайдеггера – обратили внимание на феномен нигилизма, который показался им явлением, чреватый ужасающими последствиями. Примечательно, что в апреле 1915 г. австрийский писатель П. Эрнст, в прошлом социалист, в письме философу-марксисту Г. Лукачу так отзывался о книге Ропшина (Б.В. Савинкова): «… Книга рисует картину болезни… Если бы я был русским, я тоже, конечно, стал бы революционером и, весьма вероятно, террористом…». По его мнению, автор страдает «от чувства, что государство, а с ним, вероятно, и нация больны… Это ужасно, что честный человек в подобной ситуации неизбежно должен совершать преступления»[34].

«Субъективный фактор и проявил себя также применительно к «роковой фигуре» русской революции – А.Ф. Керенском, который оказался близорук не только в прямом, но и переносном смысле. В декабре 1916 г. он, отлученный на несколько заседаний от думских заседаний, в санатории в Финляндии на совет «наивного» Исаака Бабеля приобрести очки, чтобы увидеть красоты зимы, ответил горячей отповедью:

«Дитя, – ответил он, – не тратьте пороху. Полтинник за очки, это – единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами… Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии – когда у меня есть цвета? Весь мир для меня – гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля»[35].

[32] *Shakibi Z.* Revolutions and the Collapse of Monarchy. Human Agency and the Maikng of Revolution in France, Russia and Iran. London, New York, 2007. С. 228.

[33] Декабрьские баррикады Москвы в 1905 г. (7–31 декабря 1905 г., из записных книжек очевидца и наблюдателя). Изложил старый Москвич И. Р-нов. М., 1906. С. 6.

[34] *Лукач Г.* Ленин и классовая борьба. М., 2008. С. 37.

[35] *Бабель И.* Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1990. С. 106.

Трудно сказать, насколько точно передал этот разговор, но очевидно, что Керенский верил в силу своих слов и не видел призрака русского бунта.

Впрочем, в правительстве после обанкротившегося «европейца» П.Н. Милюкова (называемого, что характерно, «гением бестактности») появился еще один удивительный персонаж – 31-летний М.И. Терещенко. Этот очень богатый человек был не лишен способностей, учился на Западе, владел рядом европейских языков. На своем посту он практически беззаботно продолжил линию Милюкова. Похоже, ему прощали всё – словно детские шалости. По свидетельству княгини О.В. Палей его называли «Вилли Ферреро – вундеркинд». Дипломат Г.Н. Михайловский утверждал, что Терещенко нравилась «роль “надувателя” Совдепа» *(Булдаков В.П.* Страсти революции. Эмоциональная стихия 1917 года. М., 2024. С. 186).

Похоже, ситуация была сложнее. М.И. Терещенко был не только спонсором, но и конфидентом А.А. Блока. Последний составил о нём достаточно отчётливое впечатление. Это был тип разочарованного в жизни богача. Он считал, что одно только «искусство уравнивает людей.., что оно даёт радость или нечто, чего нельзя назвать даже радостью, что он не понимает людей, которые могут интересоваться, например, политикой, если они хотя когда-нибудь знали (почувствовали), что такое искусство…»[36]. В конце 1912 г. Терещенко усомнился в «способностях русского народа». Ещё противнее казалось ему «интеллигентство». Он потянулся к славянофилам, при этом «старообрядцы, Москва, П. Рябушинский» заставили его «верить в скрытые силы русского народа»[37]. Принято считать, что Терещенко принял министерский пост по «масонской линии».

Политическая жизнь после в России после февральского переворота оказалась переполнена и не такими неожиданностями. Как отмечал писатель Л. Андреев, в марте 1917 г. возникла нелепая ситуация: «… Заседают два… правительства [Временное правительство и Петроградский Совет], хаос и бестолковщина. Не то митинг, не то казармы, не то придворный бал... Сверхумных много, а просто умных не видно и не слышно. Все с теориями»[38]. Тем не менее, пресловутое двоевластие считалось (и до сих пор считается) главным фактором политической жизни – призрак воспринимается как реальность.

На деле реального двоевластия не было – возникло «двоевластие»[39], как зло иронизировал Л.Д. Троцкий. А тем временем народ был убежден в возможностях новой власти «самодержавно» решить все жизненные вопросы, минуя «лишние» демократические институты. Это и предопределило судьбу и либералов, и социалистов.

---

[36] *Блок А.* Записная книжка. С. 111, 137.

[37] Там же. С. 152, 153.

[38] *Андреев Л.Н.* S.O.S.: Дневник (1914 – 1919); Письма (1917 – 1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918 – 1919). М.; СПб., 1994. С. 30.

[39] *Троцкий Л.* Двоевластие: К характеристике современного момента // Вперед: Орган Петербургского Междурайонного комитета объединенных с.-д. (интернационалистов). 1917. № 1. 15 (2 июня). С. 3–4.

* * *

Являясь членом Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных действий представителей старого режима, А. Блок мог в полной мере ощутить зыбкость того, что именовалось двоевластием. Однако, вопреки своим предчувствиям, он продолжал сохранять некоторые иллюзии. 1 июня в Петропавловской крепости из разговора солдат он, в частности, узнал, что «стрелки убили сапера за противуленинизм (на днях в крепости), всячески противятся выдаче еды заключённым (царским министрам. – *В.Б.*)». «Не большевизм, а темнота», – прокомментировал поэт. Через полмесяца на 1-м Всероссийском съезде Советов он узнал житейскую историю одного солдата. Тот в своё время «хотел «приключений» и с радостью пошел [на войну], и как потом приключений не вышло», солдат стал искать «виновников». Похоже, явления такого рода не смутили Блока. «Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что этот порядок величаво и спокойно *оберегается всем* революционным народом, – успокаивал он самого себя после июльских событий. – Какое право имеем мы (мозг страны) нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и много знающий революционный народ?» Впрочем, он тут же добавлял: «Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь ещё раз, если *нас* перережут, во имя *порядка*»[40].

Некоторое время либералам и социалистам удавалось удерживать ситуацию под контролем – однако, отнюдь не за счёт сознательности, а, скорее, за счёт внушаемости масс. «Очень часто слова, имеющие самый неопределённый смысл, оказывают самое большое влияние на толпу, – считал Г. Лебон. – Таковы, например, термины: “демократия”, “социализм”, “равенство”, “свобода”…». Впрочем, магия слов не может быть бесконечной – они словно стираются, теряя свое эмоциональное наполнение. Тот же Лебон предупреждал, что со временем «в толпе возникает глубокая антипатия к образам, вызываемым известными словами»[41].

И. Бабель вновь увидел Керенского через полгода в Петрограде:

«В тот день Троицкий мост был разведён. Путиловские рабочие шли на Арсенал… Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади. Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнёс речь о России – матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел он в ощетинившихся овчинах он – единственный зритель без бинокля?[42] А. Блоку казалось, что поклонники «обливают Керенского помоями своего восхищения»[43]. Однако вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды:

[40] *Блок А.* Записная книжка. С. 265–266.
[41] *Лебон Г.* Психология масс. СПб., 2015. С. 111–112.
[42] *Бабель И.* Сочинения в двух томах. Т. 1. С. 107.
[43] *Блок А.* Записная книжка. С. 266.

– Товарищи и братья…»[44].

Троцкий нашёл слова и жесты, пробуждающие, говоря языком К.С. Станиславского, аффективную память, включающую агрессивные импульсы подсознании, – как в себе, так и в зрителях. Она в свою очередь не оставляла надежды на улучшение положения при нынешней власти.

В своём дневнике в те же дни А. Блок пересказывал характерный для того времени случай. «Присяжный поверенный Гольдштайн, когда у него сегодня отобрали автомобиль (в ходе июльских событий такое случалось постоянно. – *В.Б.*), показал удостоверение Керенского на право служебных поездок». На это ему уверенно ответили: «Керенский давно арестован. Вы бы ещё показали удостоверение Николая II»[45]. Керенский не был арестован, ходили лишь соответствующие слухи, по-своему подготавливая его бесславный конец.

Как ни странно, пережить страхи революционного времени А. Блоку помогало эстетическое воображение. В эти дни, как и во время февральско-мартовских событий Россия, переживала «автомобильную революцию». «Один автомобиль был очень красив сегодня (маленький, несется, огромное красное знамя, и сзади пулемет)»[46], – отмечал Блок. Та же самые гипертрофирующие особенности восприятия реальности, которые ранее пугали, теперь помогали преодолеть страх, превращая его в психологическую готовность к неизбежной развязке.

Ленин также по-своему воспользовался разгулом страстей. В отличие от большинства революционных теоретиков он не пытался умствовать относительно соотношения революции и бунта: после Апрельского кризиса он всё чаще говорил не о рабочих и крестьянах, а о «массах». Всякая революция демонстрирует свою «культуру насилия». Последняя впитывает в себя не только архетипические жестокости прошлого, но и карательные навыки современности. Однако, во всяком спонтанно разрастающемся насилии рано или поздно прорежутся доисторические изуверства. От этого не спасут никакие призывы к справедливости и гуманности.

Смысл происходящего был совсем не таким, какой хотелось бы идеологам и политикам европейского образца: преобладала логика *распада* старой и слабой – самодержавной, а затем «демократической» – власти, упустившей рычаги управления страной. Возможности большевизма словно взбухали на волне слухов об их силе и бессилии Временного правительства. После июльских событий, казалось бы, обернувшихся окончательным поражением большевиков, ожидания их нового выступления лишь усилились. Сатирические журналы, неустанно поносившие и высмеивающие «немецкого шпиона» – Ленина, связывали возможности его партии с ростом анархии. Впрочем, между анархией и большевизмом ставили знак равенства. На

[44] *Бабель И.* Сочинения в двух томах. Т. 1. С. 107.
[45] *Блок А.* Записная книжка. С. 274–275.
[46] Там же. С. 275.

деле, ситуацию стала определять не «Ленин и его штаб», а «стихийный большевизм», вдохновлявшийся страстным желанием низов окончания войны и «черного передела». К осени пресса стала «угадывать» сроки переворота. Некий чиновник министерства финансов словно обречённо отмечал в дневнике даты грядущего выступления большевиков: 17 сентября, 15, 19, 20, 23 октября[47]. Между тем, большевистские верхи пребывали в нерешительности, характерной для доктринеров, обязанных совершить решительный шаг.

Примечательно, что А. Блок верно понимал причины предоктябрьского «раскола среди большевиков». 9 октября он записывал в дневнике: «Зиновьев, Троцкий и пр. считали, что выступление 20-го нужно, каковы бы не были его результаты, и смотрели на эти результаты пессимистически. *Один только Ленин* верит, что захват власти демократией действительно ликвидирует войну и наладит все в стране». По мнению Блока, большевики готовы выступить: «одни – с отчаяния, а Ленин – с предвидением доброго»[48].

Удивительно, но М.И. Терещенко даже 25 октября 1917 г. в ответ на обеспокоенность британского посла Дж. Бьюкенена пытался разуверить его: правительством по-прежнему «хозяин положения»[49].

* * *

Что бы ни творилось в верхах, российская интеллигенция – и марксистская и народническая, и либеральная и «революционная» – стала оплакивать свою собственную историческую неудачу задолго до торжества большевизма. А. Блок оставил в дневниках немало горьких слов об интеллигенции, к которой он формально принадлежал. Получалось, что во времена стабильности она «мельчает», а в переломных ситуациях словно пробуждается, торопливо устремляясь за победителями. Однако, испытав разочарование в политике, с одной стороны, испугавшись «анархии» – с другой, она впадает в отчаянное критиканство, чтобы со временем смириться с «неизбежным». В таких условиях не может не утвердиться грубая сила, за которой стоит примитивная, но соблазнительная идея. Её он попытался опоэтизировать. Так же поступали С. Есенин и В. Маяковский.

В чём была поэтическая сила Маяковского? До определённого предела он был изоморфен революционному хаосу. В 1921 г. лингвист А.Г. Горнфельд проницательно отмечал: «Маяковский груб прежде всего для себя, потому что только в грубости, в яростной гиперболе, в исступленной метафоре находит выражение и успокоение его болезненная чувствительность. Маяковский есть порождение не толпы, не улицы, а очень развитой, очень тонкой литературы»[50]. Со своей стороны, А. Блок попытался понять и оценить С. Есенина,

[47] Русская революция глазами петроградского чиновника: Дневник: 1917–1918. Oslo, 1986. С. 8, 10, 12–13, 23.

[48] *Блок А.* Записная книжка. С. 323.

[49] *Набоков К.Д.* Испытания дипломата. СПб., 2014. С. 121.

[50] *Горнфельд А.Г.* Новые словечки и старые слова. Речь на съезде преподавателей языка и словесности в Петербурге 5 сентября 1921 г. Пб., 1922. С. 42.

сбивчиво (и вряд ли вполне адекватно) записав его «монолог». Есенин происходил из богатой старообрядческой семьи. Об интеллигентах он отзывался нелестно: интеллигент «как птица в клетке; к нему протягивается рука здоровая, жилистая – (народ); он бьется, кричит от страха». По его мнению, существует некие «щиты между людьми», революция должна их снять. Сам он не чувствовал щита между образованными людьми и традиционной массой. По словам Блока, Есенин питал «ненависть к православию». Старообрядчество московских купцов он также воспринимал как «не настоящее, застывшее». В революции бывают «всякие (хулиганы), но нельзя в них винить народ». Разрушения (в том числе Кремля, «которого Есенину не жалко») происходят «только из озорства»[51]. Разрушителей «во имя высших ценностей» Есенин не находил.

В наши дни может показаться, что российская революция не несла в себе никаких позитивных культурно-исторических интенций. А. Блок попытался понять и принять её как нечто естественное. Действительно, в контексте большого исторического времени – всё смотрится по-своему оптимистично, а сам Блок – мыслителем, поднявшимся до высот метаистории. Вероятно, всё проще: он делал из нужды добродетель. Так поступали многие и не только в России. Г. Лебон, к примеру, утверждал: «Ложные верования и всяческие иллюзии служат главными факторами цивилизации... Не в погоне за истиной, а в погоне за иллюзиями человек устремлялся всего более; никогда не достигая химер, к которым стремился, он содействовал прогрессу, о котором и не помышлял…»[52]. Лебон был сыном своего времени, пытавшимся, однако, вырваться из объятий доминирующего позитивизма. Современность всегда склонна не замечать своего «неудобного» прошлого. А. Блок пытался утешить себя методом «от противного»: «В искусстве: в языке и музыке. Европа (ее тема) – *искусство и смерть*. Россия – жизнь»[53]. Очень многим хотелось приукрасить то, что устрашало своей безжалостной поступью.

* * *

В «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевский зачем-то воспроизвёл сибирский бред Раскольникова о некой «страшной, неслыханной и невиданной моровой язве», идущей из глубин Азии и грозящей поглотить Европу с помощью «зараженных» людей, считавших себя «непоколебимыми в истине». Конечно, великий писатель «пугал». Однако его вымысел не только не остаётся опровергнутым, напротив, он вновь и вновь воспринимается как пророчество. Обществоведы всё еще не сопоставили его со своими собственными «эмпирическими» данными.

Возникает вопрос: что даёт попытка взглянуть на реалии революции из «другого измерения». В данном случае заведомо известно, что именно люди с наиболее тонкой психической организацией больше других будут страдать

[51] *Блок А.* Записная книжка. С. 325–326.

[52] Цит. по: *Ломброзо [Ч.] и Ляски [Р.]*. Политическая преступность и революция по отношению к праву, уголовной антропологии и государственной науке. СПб, 1903. С. 79.

[53] *Блок А.* Записная книжка. С. 331.

от революционного хаоса. Что же они могут поведать кроме своих страхов? Однако, хотелось бы возразить: именно в их среде следует искать тех, кто может даром предчувствия – сопоставляя их догадки и эмоции с известными реалиями, мы можем протестировать известные представления об исторических закономерностях через психику и интеллект незаурядных очевидцев.

Вместе с тем, следует признать, что на самом деле «другого измерения» истории нет; есть лишь досадные прорехи в источниковедении революции и, соответственно, не реализованные познавательные возможности, о которых с сожалением приходится напоминать авторам, упорно предпочитающим удобные для них шаблоны и догмы. В прошлом нет ничего «лишнего» и малозначительного; историк не вправе отбрасывать то, что лежит за пределами его исследовательского опыта. Единственно, что он может себе позволить: выделить из обозримой источниковой базы ту иерархию предпочтений, которая оптимально отвечает его исследовательскому замыслу. Что касается последнего, то он полностью зависит от уверенности автора в своих творческих силах.

Из совокупности «деталей» революционной повседневности складывается само движение истории. Разумеется, со временем в них захочется разглядеть «дьявола» – так проще. Однако исторический самообман чреват очередным воспроизведением потаенных ужасов минувших веков.

Люди обычно не ведают, что творят. Тем не менее, российскую революцию можно было понять с помощью самых различных «подсказок», прозвучавших задолго до её начала. Но обществоведы, не говоря уже о публицистах, так и не научились использовать их, предпочитая опираться на представления ее «творцов» и «жертв». Между тем, историк обязан избегать этих обычных источниковедческих слабостей уже в силу экзистенциального значения своей профессии. Увы, возможности историка всегда ограничены – как ограничена способность самых проницательных людей увидеть свое место в вихре переходного времени с горизонтов большого исторического времени. Однако что остаётся человеку творчества, если не дерзать?

**Список литературы:**

1. *Королев С.А.* Бесконечное пространство. Гео– и социографические образы власти в России. М.: ИФ РАН, 1997. –234 с.
2. *Лукач Г.* Ленин и классовая борьба. М.: Алгоритм, 2008. – 448 с.
3. *Мамардашвили М.* Возможный человек. М.: Панглосс, 2019. – 495 с.
4. *Озуф М.* Революционный праздник, 1789–1799. М.: Языки русской культуры, 2003. – 416 с.
5. *Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс. М.: АСТ, 1997. – 509 с.
6. *Фюре Ф.* Прошлое одной иллюзии. М.: Ad Marginem, 1998. – 640 с.
7. *Хобсбаум Э.* Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914 –1991). М.: Независимая газета, 2004. – 630 с.
8. *Shakibi Z.* Revolutions and the Collapse of Monarchy. Human Agency and the Maikng of Revolution in France, Russia and Iran. London, New York, 2007.
9. *Hunt L.* Politics, Culture, and Class in the French Revolution. Berkeley, 1984.

*Об авторе:*

БУЛДАКОВ Владимир Прохорович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник, Институт российской истории, РАН (Россия, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19), e-mail: kuroneko@mail.ru

**Revolution and Russia: a «different dimension» of the systemic crisis**

**V.P. Buldakov**

The Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences,
*Moscow, Russia*

The author shows that modern ideas about the Russian revolution look futile. The verbosity of historiographical «generalizations» and the diversity of «discourses» reveal the semantic poverty of established research practices. Attempts to squeeze a picture of revolutionary chaos into the framework of political and economic history in its «progressive» hypostasis seem especially fruitless. Hence the result – a revelry of conspiracy fantasies, on the one hand, and attempts to impose rational logic on spontaneous processes, on the other. In these conditions, to clarify the picture, one should turn to «subtle matters» – first of all, to the emotional component of human existence. This side of pre-revolutionary reality was most vividly reflected in the works of the most prominent Russian writers and poets.

**Keywords**: *Russian revolution, systemic crisis, pre-revolutionary culture, psychology of crisis.*

*About author:*

BULDAKOV Vladimir Prokhorovich – Doctor of History, Chief Researcher, Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences (Russia, Moscow, D. Ulyanov str., 19), e-mail: kuroneko@mail.ru

**References**

Korolev S.A., *Beskonechnoe prostranstvo. Geo– i sociograficheskie obrazy vlasti v Rossii*, M., IF RAN, 1997. –234 s.

Lukach G., *Lenin i klassovaya bor'ba*, M., Algoritm, 2008. – 448 s.

Mamardashvili M., *Vozmozhnyj chelovek*, M., Pangloss, 2019. – 495 s.

Ozuf M, *Revolyucionnyj prazdnik, 1789–1799*, M., Yazyki russkoj kul'tury, 2003. – 416 s.

Ortega-i-Gasset H., *Vosstanie mass*, M., AST, 1997. – 509 s.

Fyure F., *Proshloe odnoj illyuzii*, M., Ad Marginem, 1998. – 640 s.

Hobsbaum E., *Epoha krajnostej: Korotkij dvadcatyj vek (1914 –1991)*, M., Nezavisimaya gazeta, 2004. – 630 s.

*Статья поступила в редакцию 17.04.2025 г.*

*Подписана в печать 15.08.2025 г.*